

Содержание

От редактора

7

Другие берега

9

Предисловие к русскому изданию

13

Предисловие к русскому изданию

Предлагаемая читателю автобиография обнимает период почти в сорок лет — с первых годов века по май 1940 года, когда автор переселился из Европы в Соединенные Штаты. Ее цель — описать прошлое с предельной точностью и отыскать в нем однозначные очертания, а именно: развитие и повторение тайных тем в явной судьбе. Я попытался дать Мнемозине не только волю, но и закон.

Основой и отчасти подлинником этой книги послужило ее американское издание, «Conclusive Evidence»¹. Совершенно владея с младенчества и английским, и французским, я перешел бы для нужд сочинительства с русского на иностранный язык без труда, будь я, скажем, Джозеф Конрад, который, до того как начал писать по-английски, никакого следа в родной (польской) литературе не оставил, а на избранном языке (английском) искусно пользовался готовыми формулами. Когда, в 1940 году, я решил перейти на английский язык,

1 «Убедительное доказательство» (прим. Набокова).

беда моя заключалась в том, что перед тем, в течение пятнадцати с лишком лет, я писал по-русски и за эти годы наложил собственный отпечаток на свое орудие, на своего посредника. Переходя на другой язык, я отказывался таким образом не от языка Аввакума, Пушкина, Толстого — или Иванова, няни русской публицистики, — словом, не от общего языка, а от индивидуального, кровного наречия. Долголетняя привычка выражаться по-своему не позволяла довольствоваться на новоизбранном языке трафаретами, — и чудовищные трудности предстоявшего перевоплощения, и ужас расставанья с живым, ручным существом ввергли меня сначала в состояние, о котором нет надобности распространяться; скажу только, что ни один стоящий на определенном уровне писатель его не испытывал до меня.

Я вижу невыносимые недостатки в таких моих английских сочинениях, как, например, «The Real Life of Sebastian Knight»¹; есть кое-что удовлетворяющее меня в «Bend Sinister»² и некоторых отдельных рассказах, печатавшихся время от времени в журнале «The New Yorker». Книга «Conclusive Evidence» писалась долго (1946–1950), с особенно мучительным трудом, ибо память была настроена на один лад — музыкально недоговоренный, русский, — а навязывался ей другой лад, английский и обстоятельный. В получившейся книге некоторые мелкие части механизма были сомнительной

1 «Истинная жизнь Себастьяна Найта» (прим. Набокова).

2 «Под знаком незаконнорожденных» (прим. Набокова).

прочности, но мне казалось, что целое работает довольно исправно — покуда я не взялся за безумное дело перевода «Conclusive Evidence» на прежний, основной мой язык. Недостатки объявились такие, так отвратительно тарасцилась иная фраза, так много было и пробелов и лишних пояснений, что точный перевод на русский язык был бы карикатурой Мнемозины. Удержав общий узор, я изменил и дополнил многое. Предлагаемая русская книга относится к английскому тексту как прописные буквы к курсиву, или как относится к стилизованному профилю в упор глядящее лицо: «Позвольте представиться, — сказал попугчик мой без улыбки, — моя фамилия N.». Мы разговорились. Незаметно пролетела дорожная ночь. «Так-то, сударь», — закончил он со вздохом. За окном вагона уже дымился ненастный день, мелькали печальные перелески, белело небо над каким-то пригородом, там и сям еще горели, или уже зажглись, окна в отдаленных домах...

Вот звон путеводной ноты.

Глава первая

1

Колыбель качается над бездной. Заглушая шепот вдохновенных суеверий, здравый смысл говорит нам, что жизнь — только щель слабого света между двумя идеально черными вечностями. Разницы в их черноте нет никакой, но в бездну преджизненную нам свойственно вглядываться с меньшим смятением, чем в ту, к которой летим со скоростью четырех тысяч пятисот ударов сердца в час. Я знавал, впрочем, чувствительного юношу, страдавшего хронофобией и в отношении к безграничному прошлому. С томлением, прямо паническим, просматривая домашнего производства фильм, снятый за месяц до его рождения, он видел совершенно знакомый мир, ту же обстановку, тех же людей, но сознавал, что его-то в этом мире нет вовсе, что никто его отсутствия не замечает и по нем не горюет. Особенно навязчив и страшен был вид только что купленной детской коляски, стоявшей на крыльце с самодовольной косностью гроба; коляска была пуста, как будто «при

обращении времени в мнимую величину минувшего», как удачно выразился мой молодой читатель, самые кости его исчезли.

Юность, конечно, очень подвержена таким наваждениям. И то сказать: коли та или другая добротная догма не приходит в подмогу свободной мысли, есть нечто ребячливое в повышенной восприимчивости к обратной или передней вечности. В зрелом же возрасте рядовой читатель так привыкает к непонятности ежедневной жизни, что относится с равнодушием к обеим черным пустотам, между которыми ему улыбается мираж, принимаемый им за ландшафт. Так давайте же ограничим воображение. Его дивными и мучительными дарами могут наслаждаться только бессонные дети или какая-нибудь гениальная развалина. Дабы восторг жизни был человечески выносим, давайте (говорит читатель) навяжем ему меру.

Против всего этого я решительно восстаю. Я готов, перед своей же земной природой, ходить с грубой надписью под дождем, как обиженный приказчик. Сколько раз я чуть не вывихивал разум, стараясь высмотреть малейший луч личного среди безличной тьмы по оба предела жизни! Я готов был стать единоверцем последнего шамана, только бы не отказаться от внутреннего убеждения, что себя я не вижу в вечности лишь из-за земного времени, глухой стеной окружающего жизнь. Я забирался мыслью в серую от звезд даль — но ладонь скользила все по той же совершенно непроницаемой глади. Кажется, кроме самоубийства, я перепробовал все выходы. Я отказывался от своего

лица, чтобы проникнуть заурядным привидением в мир, существовавший до меня. Я мирился с унижительным соседством романисток, лепечущих о разных иогах¹ и атлантидах. Я терпел даже отчеты о медиумистических переживаниях каких-то английских полковников индийской службы, довольно ясно помнящих свои прежние воплощения под ивами Лхассы. В поисках ключей и разгадок я рылся в своих самых ранних снах — и раз уж я заговорил о снах, прошу заметить, что безоговорочно отметаю фрейдовщину и всю ее темную средневековую подоплеку, с ее маниакальной погоней за половой символикой, с ее угрюмыми эмбриончиками, подглядывающими из природных засад угрюмое родительское соитие.

В начале моих исследований прошлого я не совсем понимал, что безграничное на первый взгляд время есть на самом деле круглая крепость. Не умея пробиться в свою вечность, я обратился к изучению ее пограничной полосы — моего младенчества. Я вижу пробуждение самосознания как череду вспышек с уменьшающимися промежутками. Вспышки сливаются в цветные просветы, в географические формы. Я научился счету и слову почти одновременно, и открытие, что я — я, а мои родители — *они*, было непосредственно связано с понятием об отношении их возраста к моему. Вот вклю-

1 В настоящем издании сохраняются некоторые особенности авторской орфографии и транслитерации (написание слов шкап, гошпиталь, эксплуатация, светер и др., а также имен собственных, например, Уэльс, Додэ, Нью-Йорк, Ютаха, Лос-Анжелес).

чаю этот ток — и, судя по густоте солнечного света, тотчас заливающего мою память, по лапчатому его очерку, явно зависящему от переслоений и колебаний лопастных дубовых листьев, промеж которых он падает на песок, полагаю, что мое открытие себя произошло в деревне, летом, когда, задав кое-какие вопросы, я сопоставил в уме точные ответы, полученные на них от отца и матери, — между которыми я вдруг появляюсь на пестрой парковой тропе. Все это соответствует теории онтогенического повторения пройденного. Филогенически же, в первом человеке осознание себя не могло не совпасть с рождением чувства времени.

Итак, лишь только добытая формула моего возраста, свежезеленая тройка на золотом фоне, встретила в солнечном течении тропы с родительскими цифрами, тенистыми тридцать три и двадцать семь, я испытал живительную встряску. При этом втором крещении, более действительном, чем первое (совершенное при воплях полуутопленного полу-Виктора, — звонко, из-за двери, мать успела поправить нерасторопного протоиерея Константина Ветвеницкого), я почувствовал себя погруженным в сияющую и подвижную среду, а именно в чистую стихию времени, которое я делил — как делишь, плещась, яркую морскую воду — с другими купающимися в ней существами. Тогда-то я вдруг понял, что двадцатисемилетнее, в чем-то бело-розовом и мягком, создание, владеющее моей левой рукой, — моя мать, а создание тридцатитрехлетнее, в бело-золотом и твердом, держащее меня за правую руку, — отец. Они

шли, и между ними шел я, то упруго семеня, то переступая с подковки на подковку солнца, и опять семеня, посреди дорожки, в которой теперь из смехотворной дали узнаю одну из аллей — длинную, прямую, обсаженную дубками, — прорезавших «новую» часть огромного парка в нашем петербургском имении. Это было в день рождения отца, двадцать первого, по нашему календарю, июля 1902 года; и глядя туда со страшно далекой, почти необитаемой гряды времени, я вижу себя в тот день восторженно празднующим зарождение чувственной жизни. До этого оба моих водителя, и левый и правый, если и существовали в тумане моего младенчества, появлялись там лишь инкогнито, нежными анонимами; но теперь, при созвучии трех цифр, крепкая, облая, сдобно-блестящая кавалергардская кираса, обхватывавшая грудь и спину отца, взошла как солнце, и слева, как дневная луна, повис парасоль матери; и потом в течение многих лет я продолжал живо интересоваться возрастом родителей, справляясь о нем, как беспокойный пассажир, проверяя новые часы, справляется у спутников о времени.

Замечу мимоходом, что, отбыв воинскую повинность задолго до моего рождения, отец в тот знаменательный день, вероятно, надел свои полковые регалии ради праздничной шутки. Шутке, значит, я обязан первым проблеском полноценного сознания — что тоже имеет рекапитулярный¹

1 Рекапитуляция — повторение признаков далеких предков в онтогенезе современных организмов.

смысл, ибо первые существа, почуявшие течение времени, несомненно были и первыми умевшими улыбаться.

2

Первобытная пещера, а не модное лоно, — вот (венским мистикам наперекор) образ моих игр, когда мне было три-четыре года. Передо мной встает большой диван, с клеверным крапом по белому кретону, в одной из гостиных нашего деревенского дома: это массив, нагроможденный в эру доисторическую. История начинается неподалеку от него с флоры прекрасного архипелага, там, где крупная гортензия в объемистом вазоне со следами земли наполовину скрывает за облаками своих бледно-голубых и бледно-зеленых соцветий пьедестал мраморной Дианы, на которой сидит муха.

Прямо над диваном висит батальная гравюра в раме из черного дерева, намечая еще один исторический этап. Стоя на пружинистом кретоне, я извлекал из ее смеси эпизодического и аллегорического разные фигуры, смысл которых раскрывался с годами: раненого барабанщика, трофеи, павшую лошадь, усачей со штыками и неуязвимого среди этой застывшей возни, бритого императора в походном сюртуке на фоне пышного штаба.

С помощью взрослого домочадца (которому приходилось действовать сначала обеими руками,

а потом мощным коленом) диван несколько отодвигался от стены (здравствуйте, дырочки штепселя). Из диванных валиков строилась крыша; тяжелые подушки служили заслонами с обоих концов. Ползти на четвереньках по этому беспросветно-черному туннелю было сказочным наслаждением. Делалось душно и страшно, в коленку впивался кусочек ореховой скорлупы, но я все же медлил в этой давящей мгле, слушая тупой звон в ушах, рассудительный звон одиночества, столь знакомый малышам, вовлеченным игрой в пыльные, грустно-укромные углы. Темнота становилась слепотой, слепота искрилась по-своему; и весь вспыхнул как-то снутри, в трепете сладкого ужаса, стуча коленками и ладошками, я торопился к выходу и сбивал подушку. Мечтательнее и тоньше была другая пещерная игра, — когда, проснувшись раньше обыкновенного, я сооружал шатер из простыни и одеяла и давал волю воображению среди бледного света, полотняных и фланелевых лавин, в складках которых мне мерещились томительные допотопные дали, силуэты сонных зверей. Заодно воскресает образ моей детской кровати, с подъемными сетками из пушистого шнура по бокам, чтобы автор не выпал; и, в свою очередь, этот образ направляет память к другому утреннему приключению. Как бывало я упивался восхитительно крепким, гранатово-красным, хрустальным яйцом, уцелевшим от какой-то незапамятной Пасхи! Пожевав уголок простыни так, чтобы он хорошенько намок, я туго заворачивал в него граненое сокровище и, все еще

подлизывая спеленутые его плоскости, глядел, как горящий румянец постепенно просачивается сквозь влажную ткань со все возрастающей насыщенностью рдения. Непосредственное этого мне редко удавалось питаться красотой.

Допускаю, что я не в меру привязан к самым ранним своим впечатлениям; но как же не быть мне благодарным им? Они проложили путь в сущий рай осязательных и зрительных откровений. И все я стою на коленях — классическая поза детства! — на полу, на постели, над игрушкой, ни над чем. Как-то раз, во время заграничной поездки, посреди отвлеченной ночи, именно так я стоял на подушке у окна спального отделения: это было, должно быть, в 1903 году, между прежним Парижем и прежней Ривьерой, в давно не существующем тяжелозвонном *train de luxe*¹, вагоны которого были окрашены понизу в кофейный цвет, а поверху — в сливочный. Должно быть, мне удалось отстегнуть и подтолкнуть вверх тугую тисненую шторку в головах моей койки. С неизъяснимым замираньем я смотрел сквозь стекло на горсть далеких алмазных огней, которые переливались в черной мгле отдаленных холмов, а затем как бы соскользнули в бархатный карман. Впоследствии я раздавал такие драгоценности героям моих книг, чтобы как-нибудь отделаться от бремени этого богатства. Загадочно-болезненное блаженство не изошло за полвека, если и ныне возвращаюсь к этим первичным чув-

1 Экспресс (*прим. Набокова*).

ствам. Они принадлежат гармонии моего совершеннейшего, счастливейшего детства, — и в силу этой гармонии они с волшебной легкостью, сами по себе, без поэтического участия, откладываются в памяти сразу перебеленными черновиками. Привередничать и корячиться Мнемозина начинает только тогда, когда доходишь до глав юности. И вот еще соображение: сдается мне, что в смысле этого раннего набирания мира русские дети моего поколения и круга одарены были восприимчивостью поистине гениальной, точно судьба в предвидении катастрофы, которой предстояло убрать сразу и навсегда прелестную декорацию, честно пыталась возместить будущую потерю, надевая их души и тем, что по годам им еще не причиталось. Когда же все запасы и заготовки были сделаны, гениальность исчезла, как бывает оно с вундеркиндами в узком значении слова — с каким-нибудь кудрявым, смазливym мальчиком, управлявшим оркестром или укрощавшим гремучий, громадный рояль, у пальмы, на освещенной как Африка сцене, но впоследствии становящимся совершенно второстепенным, лысоватым музыкантом с грустными глазами и какой-нибудь редкой внутренней опухолью, и чем-то тяжелым и смутно-уродливым в очерке егнушких бедер. Пусть так, но индивидуальная тайна пребывает и не перестает дразнить мемуариста. Ни в среде, ни в наследственности не могу нащупать тайный прибор, оттиснувший в начале моей жизни тот неповторимый водяной знак, который сам различаю, только подняв ее на свет искусства.